

Ги де Мопассан. Пышка

Несколько дней подряд через город проходили остатки разбитой армии. Это было не войско, а беспорядочная орда. У солдат отросли длинные неопрятные бороды, мундиры их были изорваны; двигались они вялым шагом, без знамен, вразброд. Все они были явно подавлены, измучены, не способны ни мыслить, ни действовать и шли лишь по привычке, падая от усталости при первой же остановке. Особенно много было запасных — мирных людей, безобидных рантье, изнемогавших под тяжестью винтовки, и проворных мобилей, одинаково доступных страху и воодушевлению, готовых и к атаке и к бегству; кое-где среди них мелькали красные шаровары — остатки дивизии, искрошенной в большом сражении, в ряду с пехотинцами различных полков попадались и мрачные артиллеристы, а изредка — блестящая каска драгуна, который с трудом поспевал тяжелой поступью за более легким шагом пехоты.

Проходили и дружины вольных стрелков с героическими наименованиями: «Мстители за поражение», «Граждане могилы», «Причастники смерти», но вид у них был самый разбойничий.

Их начальники, бывшие торговцы сукнами или зерном, недавние продавцы сала или мыла, случайные воины, произведенные в офицеры за деньги или за длинные усы, облеченные в мундиры и увешанные оружием, разглагольствовали оглушительными голосами, обсуждали планы кампании, самодовольно утверждая, что их плечи — единственная опора погибающей Франции, а между тем они нередко опасались своих же собственных солдат, подчас не в меру храбрых, — висельников, грабителей и распутников.

Говорили, что пруссаки вот-вот вступят в Руан.

Национальная гвардия, которая последние два месяца производила весьма осторожную разведку в соседних лесах — причем иногда подстреливала своих собственных часовых и готовилась к бою, стоило какому-нибудь зайчонку завестись в кустах, — теперь вернулась к домашним очагам. Ее оружие, мундиры, все смертоносное снаряжение, которым она еще недавно пугала верстовые столбы больших дорог на три лье в округности, внезапно куда-то исчезло.

Последние французские солдаты переправились, наконец, через Сену, следуя в Понт-Одемер через Сен-Севэр и Бур-Ашар; а позади всех пешком шел генерал с двумя адъютантами; он совершенно пал духом, не знал, что предпринять с такими разрозненными кучками людей, он и сам был растерян великим разгромом народа, привыкшего побеждать и безнадежно разбитого, несмотря на свою легендарную храбрость.

Затем над городом простерлась глубокая тишина, безмолвное и жуткое ожидание. Многие буржуа, разжиревшие и утратившие всякую мужественность у себя за прилавком, с тревогой ждали победителей, боясь, как бы не сочли за оружие их вертелы для жаркого и большие кухонные ножи.

Жизнь, казалось, остановилась; лавочки закрылись, безлюдные улицы были безмолвны. Изредка вдоль стен торопливо пробирался прохожий, напуганный этой тишиной.

Ожидание было мучительно, хотелось, чтобы уж неприятель появился поскорее.

На другой день после ухода французских войск, к вечеру, по городу промчалось несколько улан, появившихся неведомо откуда. Затем, немного позже, по склону Сент-Катрин спустилась черная лавина; два других потока хлынули со стороны

дарнетальской и буагийомской дорог. Авангарды трех корпусов одновременно появились на площади у ратуши, и по всем соседним улицам развернутыми батальонами стала прибывать немецкая армия; мостовая гудела от солдатского размеренного шага.

Слова команды, выкрикиваемые непривычно гортанными голосами, разносились вдоль домов, казалось, вымерших и покинутых, а между тем из-за прикрытых ставней чьи-то глаза украдкой разглядывали победителей, людей, ставших «по праву войны» хозяевами города, имущества и жизнью. Обыватели, сидевшие в полутемных комнатах, были объаты тем ужасом, какой вызывают стихийные бедствия, великие и разрушительные геологические перевороты, перед которыми бессильны вся мудрость и мощь человека. Одно и то же чувство возникает всякий раз, когда ниспровергнут установленный порядок, когда утрачено сознание безопасности, когда все, что охранялось законами людей или законами природы, оказывается во власти бессмысленной, грубой и беспощадной силы. Землетрясение, уничтожающее горожан под развалинами зданий, разлив реки, несущий утонувших крестьян вместе с трупами волов и сорванными стропилами крыш, или победоносная армия, которая вырезает всех, кто защищается, уводит остальных в плен, грабит во имя Меча и под грохот пушек возносит благодарение какому-то богу, — все это страшные бичи, которые подрывают веру в извечную справедливость и во внушаемое нам упование на покровительство небес и разум человека.

Но у каждой двери уже стучались небольшие отряды, а потом входили в дома. За нашествием следовала оккупация. У побежденных появлялась новая обязанность: проявлять любезность к победителям.

Прошло некоторое время, утих первый порыв страха, и снова установилось спокойствие. Во многих семьях прусский офицер ел за общим столом. Иногда это был благовоспитанный человек, он из вежливости жалел Францию, говорил, что ему тяжело участвовать в этой войне. Ему были признательны за такие чувства; к тому же в любой день могло понадобиться его покровительство. Угождая ему, пожалуй, можно избавиться от постоя нескольких лишних солдат. Да и к чему задевать человека, от которого всецело зависишь? Ведь это скорее безрассудство, чем храбрость. А безрассудство больше не является недостатком руанских буржуа, как раньше, во времена героических оборон, прославивших этот город. И, наконец, каждый приводил высший довод, подсказанный французской учтивостью: у себя дома вполне допустимо быть вежливым с иноземным солдатом, лишь бы только на людях, не выказывать близости с ним. На улице его не узнавали, но зато дома охотно беседовали с ним, и немец день ото дня все дольше засиживался по вечерам, греясь у общего камелька.

Весь город мало-помалу принимал обычный вид. Французы еще избегали выходить из дому, зато прусские солдаты кишели на улицах. Впрочем, офицеры голубых гусар, вызывающе волочившие по тротуарам свои длинные орудия смерти, презирали простых граждан, по-видимому, не многим больше, чем офицеры французских егерей, кутившие в тех же кофейнях год тому назад.

И все же в воздухе было нечто, нечто неуловимое и непривычное, тяжелая и чуждая атмосфера, словно какой-то запах — запах, нашествия. Он заполнял жилища и общественные места, давал особый привкус кушаньям, порождал такое ощущение, будто путешествуешь по далекой-далекой стране, среди опасных диких племен.

Победители требовали денег, больших денег. Обыватели платили без конца; впрочем, они были богаты. Но чем нормандский коммерсант богаче, тем сильнее страдает он от малейшего ущерба, от зрелища того, как малейшая крупца его достояния переходит в другие руки.

Между тем за городом, в двух-трех лье вниз по течению реки, возле Круассе, Дьепдаля

или Бьессара, подочники и рыбаки не раз вылавливали с речного дна вздувшиеся трупы немцев в мундирах; то убитых ударом ножа или кулака, то с проломленной камнем головой, то просто сброшенных в воду с моста. Речной ил окутывал саваном эти жертвы тайной дикой и законной мести, безвестного героизма, бесшумных нападений, более опасных, чем сражения среди бела дня, и лишенных ореола славы.

Ибо ненависть к чужеземцу искони вооружает горсть Бесстрашных, готовых умереть за Идею.

Но так как завоеватели, хоть и подчинившие город своей непреклонной дисциплине, все же не совершили ни одной из тех чудовищных жестокостей, которые молва неизменно приписывала им во время их победоносного шествия, — жители в конце концов осмелели, и потребность торговых сделок снова ожила в сердцах местных коммерсантов. Некоторые из них были связаны крупными денежными интересами с Гавром, занятым французской армией, и хотели попытаться попасть в этот порт, — добраться сушею до Дьеппа, а там сесть на пароход.

Было пущено в ход влияние знакомых немецких офицеров, и комендант города дал разрешение на выезд.

Для этого путешествия, на которое записалось десять человек, был нанят большой дилижанс с четверкой лошадей, и решено выехать во вторник утром, до рассвета, чтобы избежать всякого рода сборищ.

За последние дни мороз уже сковал землю, а в понедельник, около трех часов, с севера надвинулись большие черные тучи и принесли с собой снег, который падал непрерывно весь вечер и всю ночь.

Утром в половине пятого путешественники собрались во дворе «Нормандской гостиницы», где им надлежало сесть в карету.

Они еще не проснулись хорошенько и кутались в пледы, дрожа от холода. В темноте они еле различали друг друга, и многочисленные тяжелые зимние одежды делали всех похожими на тучных кюре в длинных сутанах. Но вот двое мужчин узнали друг друга, к ним подошел третий, и они разговорились.

— Я еду с женой, — сказал один из них.

— Я тоже.

— И я тоже. Первый добавил:

— В Руан мы уже не вернемся, а если пруссаки подойдут к Гавру, переедем в Англию.

У них у всех были одинаковые намерения, так как это были люди одного склада.

А карету между тем все не закладывали. Фонарик конюха время от времени показывался из одной темной двери и немедленно исчезал в другой. Из глубины конюшни доносились приглушенные навозом и соломенной подстилкой лошадиный топот и мужской голос, увещевавший и бранивший лошадей. По легкому позвякиванию бубенчиков можно было понять, что прилаживают сбрую; позвякивание вскоре перешло в отчетливый, непрерывный звон, отвечавший размеренным движениям лошади; иногда он замирал, затем возобновлялся после резкого рывка, сопровождавшегося глухим стуком подкованного копыта о землю.

Внезапно дверь затворилась. Все стихло. Промерзшие путники умолкли; они стояли не двигаясь, оцепенев от холода.

Сплошная завеса белых хлопьев непрерывно мелькала, ниспадая на землю; она стусеживала все очертания, опушила все предметы льдистым мхом; и в великом безмолвье затихшего города, погребенного под покровом зимы, слышался один лишь неясный, неизъяснимый, зыбкий шелест падающего снега, — скорее ощущение звука, чем самый звук, легкий шорох белых атомов, которые, казалось, заполняли все пространство,

окутывали весь мир.

Человек с фонарем снова появился, волоча на веревке понурю нехотя переступавшую лошадь. Он поставил ее возле дышла, привязал постромки и долго вертелся вокруг, укрепляя сбрую одной рукой, так как в другой держал фонарь. Направляясь за второй лошастью, он заметил неподвижные фигуры путешественников, совсем уже белые от снега, и сказал:

— Что же вы не сядете в дилижанс? Там хоть от снега укроетесь.

Они, вероятно, не подумали об этом и теперь разом устремились к дилижансу. Трое мужчин разместили своих жен в глубине экипажа и вслед за ними влезли сами; потом оставшиеся места безмолвно заняли прочие смутные и расплывчатые фигуры.

Пол дилижанса был устлан соломой, в которой тонули ноги. Дамы, сидевшие в глубине кареты, захватили с собой медные грелки с химическим углем; теперь они разожгли эти приборы и некоторое время шепотом перечисляли друг другу их качества, повторяя все то, что каждой из них было давно известно.

Наконец, когда дилижанс был запряжен шестью лошадьми вместо обычных четырех, ввиду трудной дороги, чей-то голос снаружи спросил:

— Все сели?

Голос изнутри ответил:

— Все.

Тогда тронулись в путь.

Дилижанс ехал очень медленно, почти шагом. Колеса вязли в снегу, весь кузов стонал и глухо потрескивал; лошади скользили, храпели, от них валил пар; длинный кнут возницы без усталости хлопал, летая во все стороны, свиваясь и разворачиваясь, как тоненькая змейка, и вдруг стегал по какому-нибудь высунувшемуся крупу, который после этого напрягался еще отчаяннее.

Постепенно рассветало. Легкие снежинки, которые один из пассажиров, чистокровный руанец, сравнил с дождем хлопка, перестали сыпаться на землю. Мутный свет просочился сквозь большие темные и грузные тучи, которые еще резче подчеркивали ослепительную белизну полей, где виднелись то ряд высоких деревьев, подернутых инеем, то хибарка под снежной шапкой.

При свете этой унылой зари пассажиры стали с любопытством разглядывать друг друга.

В самой глубине, на лучших местах, друг против друга, дремали супруги Луазо, оптовые виноторговцы с улицы Гран-Ион.

Луазо, бывший приказчик, купил дело у своего обанкротившегося хозяина и нажил состояние. Он по самой низкой цене продавал мелким провинциальным торговцам самое дрянное вино и слыл среди друзей и знакомых за отъявленного плута, за настоящего нормандца — хитрого и жизнерадостного.

Репутация мошенника настолько укрепилась за ним, что как-то на вечере в префектуре г-н Турнель, сочинитель басен и песенок, язвительный и острый ум, местная знаменитость, предложил дремавшим от скуки дамам сыграть в игру «птичка летает» [1]; шутка его облетела все гостиные префекта, затем проникла в гостиные горожан, и целый месяц вся округа покатывалась от хохота.

[1] Игра слов: L'oiseau vole — птица летает; Loiseau vole — Луазо ворует.

Помимо этого, Луазо славился всевозможными смешными выходками, а также то удачными, то плоскими остротами, и всякий, заговорив о нем, неизменно прибавлял:

— Этот Луазо прямо-таки неподражаем!

Он был невысокого роста и, казалось, состоял из одного шарообразного живота, над которым возвышалась красная физиономия, обрамленная седеющими бачками.

Его жена, рослая, полная, энергичная женщина, отличавшаяся резким голосом и решительным нравом, была душой порядка и счетоводства в торговом доме, тогда как сам Луазо оживлял его своей жизнерадостной суетней.

Возле них, с явным сознанием своего достоинства и высокого положения, восседал г-н Карре-Ламадон, фабрикант, особа значительная в хлопчатобумажной промышленности, владелец трех бумаго-пряделен, офицер Почетного Легиона и член Генерального совета. Во все время Империи он возглавлял благонамеренную оппозицию с единственной целью получить впоследствии побольше за присоединение к тому строю, с которым он боролся, по его выражению, благородным оружием. Г-жа Карре-Ламадон, будучи гораздо моложе своего мужа, служила утешением для назначенных в руанский гарнизон офицеров из хороших семей.

Она сидела напротив мужа — маленькая, хорошенькая, закутанная в меха — и сокрушенно разглядывала жалкую внутренность дилижанса.

Соседи ее, граф и графиня Юбер де Бревиль, носили одно из стариннейших и знатнейших нормандских имен. Граф, пожилой дворянин с величественной осанкой, старался ухищрениями костюма подчеркнуть свое природное сходство с королем Генрихом IV, от которого, согласно лестному фамильному преданию, забеременела некая дама Бревиль, а муж ее по сему поводу получил графский титул и губернаторство.

Граф Юбер, коллега г-на Карре-Ламадона по Генеральному совету, представлял орлеанистскую партию департамента. История его женитьбы на дочери мелкого нантского судовладельца навсегда осталась загадкой. Но так как графиня обладала величественными манерами, принимала лучше всех и даже слыла за бывшую возлюбленную одного из сыновей Луи-Филиппа, вся знать ухаживала за нею и ее салон считался первым в департаменте, единственным, где сохранилась еще старинная любезность и попасть в который было нелегко.

Имущество Бревилей, целиком состоявшее из недвижимости, приносило, по слухам, пятьсот тысяч ливров годового дохода.

Эти шесть персон занимали глубину кареты и олицетворяли богатый, уверенный в себе и могущественный слой общества, слой людей влиятельных, верных религии и твердым устоям.

По странной случайности, все женщины разместились на одной скамье, и рядом с графиней сидели две монахини, перебиравшие длинные четки и шептавшие «Pater» и «Ave». Одна из них была пожилая, с изрытым оспой лицом, словно в нее некогда в упор выстрелили картечью. У другой, очень щедеушной, было красивое болезненное лицо и чахоточная грудь, которую терзала та всепоглощающая вера, что создает мучениц и фанатичек.

Всеобщее внимание привлекали мужчина и женщина, сидевшие против монахинь.

Мужчина был хорошо известный Корнюде, демократ, пугало всех почтенных людей. Целых двадцать лет окунал он свою длинную рыжую бороду в пивные кружки всех демократических кафе. Он прокутил со своими братьями и друзьями довольно большое состояние, полученное от отца, бывшего кондитера, и с нетерпением ждал установления республики, чтобы получить, наконец, место, заслуженное столькими революционными возлияниями. Четвертого сентября, быть может в результате чьей-нибудь шутки, он почел себя назначенным на должность префекта; но когда он вздумал вступить в исполнение своих обязанностей, писари, оказавшиеся единственными хозяевами префектуры, не

пожелали его признать, и ему пришлось ретироваться. Будучи в общем добрым малым, безобидным и услужливым, он с необычайным рвением принялся за организацию обороны. Под его руководством в полях вырыли волчьи ямы, в соседних лесах вырубili все молодые деревца и все дороги усеяли западнями; удовлетворенный принятыми мерами, он с приближением врага поспешно отступил к городу. Теперь он полагал, что гораздо больше пользы принесет в Гавре, где также необходимо будет рыть траншеи.

Женщина — из числа так называемых особ «легкого поведения» — славилась своей преждевременной полнотой, которая стяжала ей прозвище «Пышка». Маленькая, вся кругленькая, заплывшая жиром, с пухлыми пальцами, перетянутыми в суставах наподобие связки коротеньких сосисок, с лоснящейся и натянутой кожей, с необъятной грудью, выдававшейся под платьем, она была еще аппетитна, и за нею немало увивались, до такой степени радовала взор ее свежесть. Лицо ее походило на румяное яблоко, на готовый распуститься бутон пиона; сверху выделялись два великолепных черных глаза, осененных длинными густыми ресницами, благодаря которым глаза казались еще темнее, а внизу — прелестный маленький влажный рот с мелкими блестящими зубками, созданный для поцелуя.

Кроме того, она, по слухам, отличалась еще многими неоценимыми достоинствами.

Как только ее узнали, между порядочными женщинами началось шушуканье; слова «девка», «срамота» были произнесены столь внятным шепотом, что Пышка подняла голову. Она окинула своих спутников таким вызывающим и дерзким взглядом, что тотчас же наступила полнейшая тишина и все потупились, исключая Луазо, который игриво поглядывал на нее.

Скоро, однако, разговор между тремя дамами возобновился; присутствие такого сорта девицы неожиданно сблизило, почти подружило их. Добродетельные супруги почувствовали необходимость объединиться перед лицом этой бесстыжей продажной твари, — ведь любовь законная всегда относится свысока к своей свободной сестре.

Трое мужчин, которых в присутствии Корнюде тоже сблизал инстинкт консерваторов, говорили о деньгах, и в тоне их чувствовалось презрение к беднякам. Граф Юбер рассказывал об уроне, причиненном ему пруссаками, о больших убытках, связанных с покражей скота и гибелью урожая, но в словах его сквозила уверенность вельможи и миллионера, которого такой ущерб мог стеснить самое большее на год. Г-н Карре-Ламадон, весьма сведущий в положении хлопчатобумажной промышленности, заблаговременно озаботился перевести в Англию шестьсот тысяч франков — запасной капиталец, прибереженный им на всякий случай. Что касается Луазо, то он ухитрился продать французскому интендантству весь запас дешевых вин, хранившихся в его подвалах, так что государство было должно ему огромную сумму, которую он и надеялся получить в Гавре.

И они, все трое, обменивались беглыми дружелюбными взглядами. Несмотря на разницу в общественном положении, они чувствовали себя собратями по богатству, членами великой франкмасонской ложи, объединяющей всех собственников, всех тех, у кого в карманах звенит золото.

Дилижанс двигался так медленно, что к десяти часам утра не проехали и четырех лье. Три раза мужчинам пришлось на подъемах вылезать и идти в гору пешком. Пассажиры начали волноваться, так как завтракать предполагалось в Тоте, а теперь уже не было надежды добраться туда раньше ночи. Каждый выглядывал в окно, надеясь увидеть какой-нибудь придорожный трактирчик, как вдруг карета застряла в сугробе, и потребовалось целых два часа, чтобы выволить ее оттуда.

Голод усиливался, мучил рассудок, а на пути не попадалось ни единой харчевни, ни

единого кабачка, потому что приближение пруссаков и отход голодных французских войск нагнали страх на владельцев всех торговых заведений.

Мужчины бегали за съестным на фермы, встречавшиеся на дороге, но не могли купить там даже хлеба, так как недоверчивый крестьянин скрывал свои припасы из страха перед голодными солдатами, которые силой отнимали все, что попадалось им на глаза.

Около часу пополудни Луазо сообщил, что чувствует в желудке положительно невыносимую пустоту. Все давно уже страдали не меньше его; жестокий, все возрастающий голод отбил всякую охоту к разговорам.

Время от времени кто-нибудь из пассажиров начинал зевать; его примеру почти тотчас же следовал другой, и соответственно своему характеру, воспитанности, общественному положению, каждый поочередно открывал рот, кто с шумом, кто беззвучно, быстро заслоняя рукой зияющее отверстие, из которого валил пар.

Пышка несколько раз наклонялась, словно отыскивая что-то под своими юбками. Но, пробыв мгновение в нерешительности, она взглядывала на соседей, затем снова спокойно выпрямлялась. У всех были бледные напряженные лица. Луазо заявил, что уплатил бы за маленький окорочек тысячу франков. Его жена сделала протестующее движение, но потом успокоилась. Разговоры о выброшенных зря деньгах всегда причиняли ей настоящее страдание, она даже не понимала шуток на этот счет.

— В самом деле, мне что-то не по себе, — молвил граф. — Как это я не позаботился о провизии?

Каждый мысленно упрекал себя в том же.

Однако у Корнюде оказалась целая фляжка рома; он предложил его желающим; все холодно отказались. Один только Луазо согласился отхлебнуть глоток и, возвращая фляжку, поблагодарил:

— А ведь хорошо! Греет и заглушает голод.

Алкоголь привел его в хорошее настроение, и он предложил поступить, как на корабле, о котором поется в песенке: съесть самого жирного из путешественников. Благовоспитанные особы были шокированы этим косвенным намеком на Пышку. Г-ну Луазо не ответили; один Корнюде улыбнулся. Монахини перестали бормотать молитвы и, запрятав руки в широкие рукава, сидели, не двигаясь, упорно не подымая глаз, и, несомненно принимали как испытание ниспосланную им небесами муку.

Наконец часа в три, когда вокруг была бесконечная равнина без единой деревушки, Пышка проворно нагнулась и вытащила из-под скамьи большую корзинку, прикрытую белой салфеткой.

Сначала она вынула оттуда фаянсовую тарелочку и серебряный стаканчик, потом объемистую миску, где застыли в желе два цыпленка, разрезанные на куски; в корзине виднелись еще другие вкусные вещи, завернутые в бумагу: пироги, фрукты, лакомства и прочая снедь, запасенная с таким расчетом, чтобы питаться три дня, не притрагиваясь к трактирной еде. Между свертками с провизией выглядывало четыре бутылочных горлышка. Пышка взяла крылышко цыпленка и деликатно принялась есть его, закусывая хлецем, носящим в Нормандии название «режанс».

Все взоры устремились к ней. Вскоре в карете распространился соблазнительный запах, от которого расширялись ноздри, во рту появлялась обильная слюна и мучительно сводило челюсти возле ушей. Презрение дам к «этой девке» превращалось в ярость, в дикое желание убить ее или вышвырнуть вон из дилижанса в снег с ее стаканчиком, корзинкой и провизией.

Но Луазо пожирал глазами миску с цыплятами. Он проговорил:

— Вот это умно! Мадам предусмотрительнее нас. Есть люди, которые всегда обо всем

подумают!

Она повернулась к нему:

— Не хотите ли, сударь? Нелегко поститься с самого утра.

Луазо поклонился.

— Да, по совести говоря, не откажусь. На войне, как на войне, не так ли, мадам?

И, окинув взглядом спутников, добавил:

— В подобные минуты так отрадно встретиться с обязательной особой.

Он разложил на коленях газету, чтобы не запачкать брюк; кончиком ножа, всегда находившегося в его кармане, подцепил куриную ножку, всю подернутую желе, и, отрывая зубами куски, принялся жевать с таким очевидным удовольствием, что по всей карете пронесся тоскливый вздох.

Тогда Пышка смиренным и кротким голосом предложила монахиням разделить с нею трапезу. Обе они немедленно согласились и, не поднимая глаз, только пробормотав благодарность, принялись торопливо есть. Корнюде тоже не отверг угощения соседки, и они, вместе с монахинями, устроили нечто вроде стола из газет, развернутых на коленях.

Рты беспрестанно открывались и закрывались, неистово жевали, уплетали, поглощали. Луазо в своем углу трудился вовсю и шепотом уговаривал жену последовать его примеру. Она долго противилась, но потом, почувствовав спазмы в желудке, сдалась. Тогда муж в изысканных выражениях спросил у очаровательной спутницы, не позволит ли она предложить маленький кусочек г-же Луазо. Пышка ответила:

— Ну, разумеется, сударь.

И, любезно улыбаясь, протянула миску.

Когда откупорили первую бутылку бордоского, произошло некоторое замешательство: имелся всего лишь один стаканчик. Его стали передавать друг другу, предварительно вытирая. Один только Корнюде как галантный кавалер прикоснулся губами к тому краю стаканчика, который был еще влажным от губ соседки.

Сидя среди людей, жадно поглощающих еду, и задыхаясь от ее запаха, граф и графиня де Бревиль, как и супруги Карре-Ламадон, испытывали ту ужасную пытку, которая получила название «муки Тантала». Вдруг юная жена фабриканта испустила такой глубокий вздох, что все обернулись; она побелела, как лежавший в полях снег; глаза ее закрылись, голова склонилась; она потеряла сознание. Муж ее страшно перепугался и стал звать к окружающим о помощи. Все растерялись, но старшая из монахинь, поддерживая голову больной, поднесла к ее губам стаканчик Пышки и принудила проглотить несколько капель вина. Хорошенькая дама пошевелилась, открыла глаза, улыбнулась и умирающим голосом проговорила, что теперь ей совсем хорошо. Но, чтобы обморок больше не повторился, монахиня заставила ее выпить целый стаканчик бордо, прибавив:

— Это не иначе, как от голоду.

Тогда Пышка, краснея и конфузясь, залепетала, обращаясь к четверем все еще постившимся спутникам:

— Господи, да я ведь не смела предложить вам... Пожалуйста, прошу вас.

Она умолкла, боясь услышать оскорбительный отказ.

Луазо взял слово:

— Э, право же, в таких случаях все люди — братья и должны помогать друг другу. Ну же, сударыня, без церемоний, соглашайтесь, что там толковать! Нам, может быть, и на ночь не удастся найти пристанища. При такой езде мы доберемся до Тота не раньше завтрашнего полудня.

Но колебания продолжались, никто не решался взять на себя ответственность за

согласие.

Наконец граф разрешил вопрос. Он повернулся к смущенной толстушке и, приняв осанку вельможи, сказал:

— Мы с благодарностью принимаем ваше предложение, мадам. Труден был лишь первый шаг. Но когда Рубикон уже перешли, все перестали стесняться. Корзина была опустошена. В ней находились, помимо прочего, паштет из печенки, паштет из жаворонков, кусок копченого языка, крассанские груши, понлевекский сыр, печенье и целая банка маринованных корнишонов и луку, ибо Пышка, как большинство женщин, обожала все острое.

Нельзя было есть припасы этой девушки и не говорить с нею. Поэтому завязалась беседа, сначала несколько сдержанная, но затем все более непринужденная, так как Пышка держала себя превосходно. Графиня де Бревиль и г-жа Карре-Ламадон, обладавшие большим светским тактом, проявили утонченную любезность. В особенности графиня выказывала приветливую снисходительность высокопоставленной дамы, которую не может запачкать общение с кем бы то ни было; она вела себя очаровательно. Но толстая г-жа Луазо, наделенная душой жандарма, оставалась неприступной; она говорила мало, зато много ела. Разговор шел, разумеется, о войне. Рассказывали о жестокостях пруссаков, о храбрости французов; эти люди, спасавшиеся от врага бегством, воздавали должное мужеству солдат. Вскоре заговорили о личных обстоятельствах, и Пышка с неподдельным волнением, с той пылкостью, какую проявляют иногда публичные женщины при выражении своих непосредственных порывов, рассказала, почему она уехала из Руана.

— Сначала я думала остаться, — сказала она. — У меня был полон дом припасов, а я предпочла бы кормить нескольких солдат, чем уезжать неведомо куда. Но когда я их, пруссаков этих, увидела, то уже не могла совладать с собою. Все во мне так и переворачивалось от злости, я проплакала целый день со стыда. Ох, будь я мужчиной, я бы им показала! Я смотрела на них из окошка, на этих толстых боровов в остроконечных касках, а служанка держала меня за руки, чтобы я не побросала им на головы всю свою мебель. Потом они явились ко мне на постой, и я первого же схватила за горло. Задушить немца не труднее, чем кого другого! И я бы его прикончила, если бы только меня не оттащили за волосы. После этого мне пришлось скрываться. А как только подвернулся случай, я уехала, — и вот я тут.

Ее стали усиленно расхваливать. Она выросла во мнении своих спутников, не проявивших такой отваги, и Корнюде, слушая ее, улыбался с одобрением и благосклонностью апостола; так священник слушает набожного человека, произносящего хвалу богу, ибо длиннородые демократы стали такими же монополистами в делах патриотизма, как люди, носящие сутану, в вопросах веры. Он, в свою очередь, заговорил поучительным тоном, с пафосом, почерпнутым из прокламаций, которые ежедневно расклеивались на стенах, и закончил красноречивой тирадой, безоговорочно разделив «подлеца Баденге».

Но Пышка тотчас же возмутилась, потому что была бонапартисткой. Она побагровела, как вишня, и, заикаясь от негодования, проговорила:

— Хотела бы я видеть вашего, брата на его месте. Хороши бы вы все были, нечего сказать! Ведь вы-то его и предали. Если бы Францией управляли озорники вроде вас, только и оставалось бы, что бежать вон!

Корнюде сохранял невозмутимость, улыбался презрительно и свысока, но чувствовалось, что сейчас дело дойдет до перебранки; тут вмешался граф и не без труда уговорил разволновавшуюся девушку, властно заявив, что любое искреннее убеждение

следует уважать. Между тем графиня и жена фабриканта, питавшие, как и все благовоспитанные люди, бессознательную ненависть к республике и свойственное всем женщинам инстинктивное пристрастие к мишурным и деспотическим правительствам, почувствовали невольную симпатию к этой проститутке, которая держалась с таким достоинством и выражала чувства, столь схожие с их собственными.

Корзина опустела. Вдесятером ее очистили без труда и только пожалели, что она недостаточно велика. Разговор тянулся еще некоторое время, хоть и стал менее оживленным после того, как покончили с едой.

Смеркалось; темнота постепенно сгущалась; холод, более чувствительный во время пищеварения, вызывал у Пышки дрожь, несмотря на ее полноту. Тогда г-жа де Бревиль предложила ей свою грелку, в которую уже несколько раз с утра подкладывала угля; та тотчас же приняла предложение, потому что ноги у нее совсем замерзли. Г-жи Карре-Ламадон и Луазо отдали свои грелки монахиням.

Кучер зажег фонари. Они озарили светом облако пара, колебавшееся над потными крупами коренников, а также снег по краям дороги, пелена которого словно развертывалась в бегущих отблесках огней.

Внутри кареты уже ничего нельзя было различить; но вдруг Пышка и Корнюде зашевелились, и г-ну Луазо, который всматривался в потемки, показалось, что длиннородый Корнюде, порывисто отодвинулся, точно получив беззвучный, но увесистый пинок.

Впереди на дороге замелькали огоньки. Это было селение Тот. Ехали уже одиннадцать часов, а если добавить сюда два часа, потраченные на четыре остановки, на то, чтобы покормить лошадей овсом и дать им передохнуть, получались и все тринадцать. Дилижанс въехал в село и остановился у «Торговой гостиницы».

Дверца отворилась. И вдруг все пассажиры вздрогнули, услышав хорошо знакомый звук: прерывистое бряцание сабли, волочившейся по земле. И тотчас резкий голос что-то прокричал по-немецки.

Несмотря на то, что дилижанс стоял, никто в нем не тронулся с места; все словно боялись, что, стоит только выйти, их немедленно убьют. Тогда появился кучер с фонарем в руках и внезапно осветил до самой глубины кареты два ряда испуганных лиц, разинутые рты и вытаращенные от удивления и ужаса глаза.

Рядом с кучером в полосе света стоял немецкий офицер — высокий белобрысый молодой человек, чрезвычайно тонкий, затянутый в мундир, как барышня в корсет; плоская лакированная фуражка, надетая набекрень, придавала ему сходство с рассыльным из английского отеля. Непомерно длинные прямые усы, бесконечно утончавшиеся по обеим сторонам и завершавшиеся одним единственным белокурым волоском, столь тонким, что концов его не было видно, словно давили на края его рта, оттягивая вниз щеки и уголки губ.

Он предложил путешественникам выйти, обратившись к ним резким тоном на французском языке с эльзасским выговором:

— Не угодно ли вылезать, коспота?

Первыми повиновались две монахини — с кротостью святых дев, привыкших к послушанию. Затем показались граф с графиней, за ними — фабрикант и его жена, а потом — Луазо, подталкивавший свою половину. Спустившись, Луазо сказал офицеру, скорее из осторожности, чем из вежливости:

— Здравствуйте, сударь.

Офицер с наглостью всемогущего человека взглянул на него и ничего не ответил.

Пышка и Корнюде, хотя и сидевшие около дверцы, вышли последними, приняв перед

лицом врага строгий и надменный вид. Толстуха старалась сдерживаться и быть спокойной; демократ трагически теребил свою длинную рыжеватую бороду слегка дрожащею рукой. Они стремились сохранить достоинство, понимая, что при подобных встречах каждый отчасти является представителем родной страны, и оба одинаково возмущались покладистостью своих спутников, причем Пышка старалась показать себя более гордой, чем ее соседки, порядочные женщины, а Корнюде, сознавая, что обязан подавать пример, продолжал по-прежнему всем своим видом подчеркивать ту миссию сопротивления, которую он начал с перекапывания дорог.

Все вошли в просторную кухню постоянного двора, и немец потребовал подписанное комендантом Руана разрешение на выезд, где были перечислены имена, приметы и род занятий всех путешественников; он долго разглядывал каждого из них, сличая людей с тем, что было о них написано.

Потом резко сказал: «Карашо» — и исчез.

Все перевели дух. Голод еще давал себя чувствовать; заказали ужин. На приготовление его потребовалось полчаса, и пока две служанки усердно занимались стряпней, путешественники пошли осмотреть помещение. Все комнаты были расположены вдоль длинного коридора, который упирался в стеклянную дверь с выразительным номером.

Когда, наконец, стали усаживаться за стол, появился сам хозяин постоянного двора. Это был старый лошадиный барышник, астматический толстяк, у которого в горле постоянно свистела, клокотала и певуче переливалась мокрота. Он унаследовал от отца фамилию Фоланви.

Он спросил:

— Кто здесь мадемуазель Элизабет Руссе?

Пышка вздрогнула и обернулась:

— Это я.

— Мадемуазель, прусский офицер желает немедленно переговорить с вами.

— Со мной?

— Да, раз вы и есть мадемуазель Элизабет Руссе.

Она смутилась, мгновение подумала и объявила напрямик:

— Вот еще!.. Не пойду!..

Кругом поднялось движение: все спорили и выискивали причину такого требования. Подошел граф:

— Вы неправы, мадам, потому что ваш отказ может повести к серьезным неприятностям. Никогда не следует противиться людям, которые сильнее нас. Это приглашение, несомненно, не представляет никакой опасности; вероятно, надо выполнить какую-нибудь формальность.

Все присоединились к графу, стали упрашивать Пышку, уговаривать, увещевать и, наконец, убедили ее: ведь каждый опасался осложнений, которые мог повлечь за собой столь безрассудный поступок.

В конце концов она сказала:

— Хорошо, но делаю я это только для вас!

Графиня пожала ей руку:

— И мы так вам благодарны!

Пышка вышла. Ее дожидались, чтобы сесть за стол.

Каждый сокрушался, что вместо этой несдержанной, вспыльчивой девушки не пригласили его, и мысленно подготавливал всякие банальные фразы на случай, если и он будет вызван.

Но минут десять спустя Пышка вернулась, вся красная, задыхаясь, вне себя от раздражения. Она бормотала:

— Ах, мерзавец! Вот мерзавец!

Все бросились к ней, желая узнать, что случилось, но она не проронила ни слова, а когда граф начал настаивать, ответила с большим достоинством:

— Нет, это вас не касается; я не могу этого сказать.

Тогда все уселись вокруг большой миски, распространявшей запах капусты. Несмотря на это тревожное происшествие, ужин проходил весело. Сидр был хорош, и чета Луазо, а также монахини пили его из экономии. Остальные заказали вино; Корнюде потребовал пива. У него была своя собственная манера откупоривать бутылку, пенить пиво, разглядывать его, наклоняя, затем подымая стакан к лампе, чтобы лучше рассмотреть цвет. Когда он пил, его длинная борода, принявшая с течением времени оттенок любимого им напитка, словно трепетала от нежности, глаза скашивались, чтобы не потерять из виду кружку, и казалось, будто он выполняет то единственное призвание, ради которого родился на свет. Он мысленно как будто старался сблизить и сочетать обе великие страсти, заполнявшие всю его жизнь: светлый эль и Революцию; несомненно, он не мог вкушать одного, не думая о другой.

Г-н Фоланви с женой ели, сидя в самом конце стола. Муж пыхтел, как старый локомотив, и в груди у него так хлопотало, что он не мог разговаривать за едой; зато жена его не умолкала ни на минуту. Она рассказала все свои впечатления от прихода пруссаков, описала, что они делали, что говорили; она ненавидела их, прежде всего, потому, что они стоили ей немало денег, а также потому, что у нее было два сына в армии. Обращалась она преимущественно к графине, так как ей лестно было разговаривать с благородной дамой.

Рассказывая что-нибудь щекотливое, она понижала голос, а муж время от времени прерывал ее:

— Лучше бы тебе помолчать, мадам Фоланви.

Но, не обращая на него никакого внимания, она продолжала:

— Да, сударыня, люди эти только тем и заняты, что едят картошку со свининой да свинину с картошкой. И не верьте, пожалуйста, что они чистоплотны. Вовсе нет! Они, извините за выражение, гадят повсюду. А посмотрели бы вы, как они по целым часам, по целым дням проделывают свои упражнения: соберутся все в поле и марш вперед, марш назад, поворот туда, поворот сюда. Лучше бы они землю пахали у себя на родине или дороги бы прокладывали! Так вот нет же, сударыня, от военных никто проку не видит! И зачем это горемычный народ кормит их, раз они только тому и учатся, как людей убивать? Я старуха необразованная, что и говорить, а когда посмотрю, как они, себя не жалея, топчутся с утра до ночи, всегда думаю: «Вот есть люди, которые делают всякие открытия, чтобы пользу принести, а к чему нужны такие, что из кожи вот лезут, лишь бы вредить?» Ну, право, не мерзость ли убивать людей, — будь они пруссаки, или англичане, или поляки, или французы? Если мстишь кому-нибудь, кто тебя обидел, — за это наказывают, и, значит, это плохо, а когда сыновей наших истребляют, как дичь, из ружей, выходит, что хорошо, — раз тому, кто уничтожит побольше, дают ордена! Нет, знаете, никак я этого в толк не возьму.

Корнюде громко заявил:

— Война — варварство, когда нападают на мирного соседа, но это священный долг, когда защищают родину.

Старуха склонила голову:

— Да, когда защищают, — другое дело; а все-таки лучше бы перебить всех королей,

которые заваривают войну ради своей потехи.

Взор Корнюде воспламенился:

— Браво, гражданка! — воскликнул он.

Г-н Карре-Ламадон был озадачен. Хотя он и преклонялся перед знаменитыми полководцами, здравый смысл старой крестьянки заставил его призадуматься: какое благосостояние принесли бы стране столько праздных сейчас и, следовательно, убыточных рабочих рук, столько бесплодно расточаемых сил, если бы применить их для великих промышленных работ, на завершение которых потребуются столетия.

А Луазо встал с места, подсел к трактирщику и шепотом заговорил с ним. Толстяк хохотал, кашлял, отхаркивался; его толстый живот весело подпрыгивал от шуток соседа, и трактирщик тут же закупил у Луазо шесть бочек бордоского к весне, когда пруссаки уйдут.

Едва кончился ужин, как все почувствовали сильнейшую усталость и отправились спать.

Между тем Луазо, успев сделать кое-какие наблюдения, уложил в постель свою супругу, а сам принялся прикладываться к замочной скважине то глазом, то ухом, чтобы, как он выражался, проникнуть в «тайны коридора».

Около часа спустя он услышал шорох, быстро посмотрел и увидел Пышку, которая казалась еще пышнее в голубом кашемировом капоте, отделанном белыми кружевами. Она держала подсвечник и направлялась к многозначительному номеру в конце коридора. Но где-то рядом приоткрылась другая дверь, и когда Пышка через несколько минут пошла обратно, за нею последовал Корнюде в подтяжках. Они говорили шепотом, потом остановились. По-видимому, Пышка решительно защищала доступ в свою комнату. Луазо, к сожалению, не разбирал слов, но под конец, когда они повысили голос, ему удалось уловить несколько фраз. Корнюде горячо настаивал. Он говорил:

— Послушайте, это глупо; ну что вам стоит.

Она была явно возмущена:

— Нет, дорогой мой, бывают случаи, когда это недопустимо; а здесь это был бы просто срам.

Он, должно быть, не понял и спросил — почему. Тогда она окончательно рассердилась и еще более повысила голос:

— Почему? Вы не понимаете, почему? А если в доме пруссаки и даже, может быть, в соседней комнате?

Он умолк. Эта патриотическая стыдливость шлюхи, не позволяющей ласкать себя вблизи неприятеля, по-видимому, пробудила в его сердце ослабевшее чувство собственного достоинства, потому что он только поцеловал ее и неслышно направился к своей двери.

Распаленный Луазо оторвался от скважины, сделал антраша, надел ночной колпак, приподнял одеяло, под которым покоился грузный остов его подруги, и, разбудив ее поцелуем, прошептал:

— Ты меня любишь, милочка?

После этого весь дом погрузился в безмолвие. Но вскоре где-то в неопределенном направлении, быть может, в погребе, а быть может, на чердаке, послышался мощный однообразный, равномерный храп, глухой и протяжный гул, словно сотрясения парового котла. Это спал г-н Фоланви.

Так как решено было выехать на другой день в восемь часов утра, к этому времени все собрались в кухне; но карета, у которой брезентовый верх покрылся снежной пеленой, одиноко высилась посреди двора, без лошадей и без кучера. Тщетно искали его в конюшне, на сеновале, в сарае. Тогда все мужчины решили обследовать местность и

вышли. Они очутились на площади, на одном конце которой находилась церковь, а по бокам — два ряда низеньких домиков, где виднелись прусские солдаты. Первый, которого они заметили, чистил картошку. Второй, подальше, мыл мастерскую парикмахера. Третий, заросший бородой до самых глаз, целовал плачущего мальчугана и качал его на коленях, чтобы успокоить; толстые крестьянки, у которых мужья были в «воюющей армии», знаками указывали своим послушным победителям работу, которую надлежало сделать: нарубить дров, засыпать суп, смолоть кофе; один из них даже стирал белье своей хозяйки, дряхлой и немощной старухи.

Удивленный граф обратился с вопросом к причетнику, который вышел из дома священника. Старая церковная крыса ответила ему:

— Ну, эти не злые; это, говорят, не пруссаки. Они откуда-то подальше, не знаю только, откуда, и у всех у них на родине остались жены и дети; им-то война не в забаву! Наверно, и там плачут по мужьям, и нужда от всего этого будет там не меньше нашей. Здесь пока что очень жаловаться не приходится, потому что они дурного не делают и работают словно у себя дома. Что ни говорите, сударь, бедняки должны помогать друг другу... Войну-то ведь затевают богачи.

Корнюде, возмущенный сердечным согласием, которое установилось между победителями и побежденными, ушел, предпочитая отсиживаться в трактире. Луазо заметил в шутку:

— Они содействуют размножению. Г-н Карре-Ламадон возразил серьезно:

— Они противодействуют опустошению.

Однако кучер все не объявлялся. Наконец его нашли в деревенском кабаке, где он по-братски расположился за столиком с офицерским денщиком. Граф спросил:

— Разве вам не приказывали запрячь к восьми часам?

— Приказывали, да потом приказали другое.

— Что такое?

— Вовсе не запрягать.

— Кто же вам дал такой приказ?

— Как кто? Прусский комендант.

— Почему?

— А я откуда знаю? Спросите у него. Не велено запрягать, я и не запрягаю. Вот и все.

— Он сам сказал вам это?

— Нет, сударь. Приказ мне передал от его имени трактирщик.

— А когда?

— Вчера вечером, перед тем как спать ложиться. Трое пассажиров вернулись в большой тревоге.

Вызвали г-на Фоланви, но служанка ответила, что из-за своей астмы хозяин никогда не встает раньше десяти часов. Он даже прямо запретил будить его раньше, разве что в случае пожара.

Хотели было повидаться с офицером, но это оказалось совершенно невозможным, хотя он и жил тут же, в трактире; один только г-н Фоланви имел право говорить с ним по гражданским делам. Тогда решили подождать. Женщины разошлись по своим комнатам и занялись всякими пустяками.

Корнюде устроился в кухне у высокого очага, где пылал яркий огонь. Он велел принести сюда столик, бутылку пива и вынул свою трубку, которая пользовалась среди демократов почти таким же уважением, как он сам, словно, служа Корнюде, она служила самой родине. То была превосходная пенковая трубка, чудесно обкуренная, такая же черная, как и зубы ее владельца, но душистая, изогнутая, блестящая, привычная его руке

и дополнявшая его облик. Так он замер, устремляя взгляд то на пламя очага, то на пену, венчавшую пивную кружку, и с удовлетворением запуская после каждого глотка худые длинные пальцы в жирные длинные волосы и обсасывая бахрому пены с усов.

Под предлогом размять ноги Луазо отправился к местным розничным торговцам с предложением своего вина. Граф и фабрикант завели разговор о политике. Они прозревали будущность Франции. Один уповал на Орлеанов, другой — на неведомого спасителя, на какого-нибудь героя, который объявится в минуту полной безнадежности, на какого-нибудь дю Геклена, на Жанну д'Арк — почему знать? Или на нового Наполеона I? Ах, если бы императорский принц не был так юн! Слушая их, Корнюде улыбался с видом человека, которому ведомы тайны судеб. Его трубка благоухала на всю кухню.

Когда пробило десять часов, явился г-н Фоланви. Все бросились его расспрашивать, но он лишь раза два-три подряд и без единого изменения повторил следующее:

— Офицер сказал мне так: «Господин Фоланви, запретите завтра запрягать карету для этих пассажиров. Я не хочу, чтобы они уехали без моего особого разрешения! Поняли? Это все».

Тогда решено было повидаться с офицером. Граф послал ему визитную карточку, на которой г-н Карре-Ламадон добавил свою фамилию и все свои звания. Пруссак приказал ответить, что примет обоих господ после того, как позавтракает, то есть около часу.

Дамы опять появились, и, несмотря на беспокойство, все путешественники немного перекусили. Пышка, казалось, была больна и сильно взволнована.

Когда кончали кофе, за графом и фабрикантом явился денщик.

Луазо присоединился к ним; попробовали завербовать и Корнюде, чтобы придать посещению больше торжественности, но он гордо заявил, что не намерен вступать с немцами в какие-либо сношения, и, потребовав еще бутылку пива, снова уселся у очага.

Трое мужчин поднялись на второй этаж и были введены в лучшую комнату трактира, где офицер принял их, развалясь в кресле, задрав ноги на камин, покуривая длинную фарфоровую трубку и кутаясь в халат огненного цвета, несомненно украденный в покинутом доме какого-нибудь буржуа, не отличавшегося вкусом. Он не встал, не поздоровался с ними, не посмотрел на них. Он являл собой великолепный образчик наглости, свойственной пруссаку-победителю.

По прошествии некоторого времени он, наконец, сказал:

— Што фи хотите?

Граф взял слово:

— Мы желали бы уехать, сударь.

— Нет.

— Осмелюсь узнать причину этого отказа?

— Потому, что мне не уютно.

— Позволю себе, сударь, почтительнейше заметить, что ваш командующий дал нам разрешение на проезд до Дьеппа, и мне кажется, мы не сделали ничего такого, что могло бы вызвать столь суровые меры с вашей стороны.

— Мне не уютно... это фсе... можете итти.

Они поклонились и вышли.

Конец дня прошел печально. Каприз немца был совершенно непонятен: каждому приходили в голову самые невероятные мысли. Все сидели в кухне и без конца обсуждали положение, строя всякие неправдоподобные догадки. Быть может, их хотят оставить в качестве заложников? Но с какой целью? Или увезти как пленных? Или, вернее, потребовать с них крупный выкуп? При этой мысли их обуял ужас. Больше всего перепугались самые богатые; они уже представляли себе, как им придется ради спасения

жизни высыпать целые мешки золота в руки этого наглого солдафона. Они изо всех сил старались выдумать какую-нибудь правдоподобную ложь, скрыть свое богатство, выдать себя за бедных, очень бедных людей. Луазо снял с себя часовую цепочку и убрал ее в карман.

Надвигавшаяся темнота усилила страхи. Зажгли лампу, а так как до обеда оставалось еще два часа, г-жа Луазо предложила сыграть в тридцать одно. Это хоть немного развлечет всех. Предложение было принято. Даже Корнюде, погасив из вежливости трубку, принял участие в игре.

Граф стасовал карты, сдал, и у Пышки сразу же оказалось тридцать одно очко; интерес к игре вскоре заглушил опасения, тревожившие все умы. Но Корнюде заметил, что чета Луазо стакнулась и плутует.

Когда собрались обедать, снова появился г-н Фоланви и прохрипел:

— Прусский офицер велел спросить у мадемуазель Элизабет Руссе, не изменила ли она еще своего решения?

Пышка замерла на месте, вся побледнев; потом она сразу побагровела и захлебнулась от злости так, что не могла говорить. Наконец ее взорвало:

— Скажите этой гадине, этому пакостнику, этой прусской сволочи, что я ни за что не соглашусь; слышите — ни за что, ни за что, ни за что!

Толстяк-трактирщик вышел. Тогда все окружили Пышку, стали ее расспрашивать, уговаривать поведать тайну своей встречи с офицером. Сначала она упиралась, однако раздражение взяло верх:

— Чего он хочет?.. Чего хочет? Он хочет спать со мной! — выкрикнула она.

Никого не смутили эти слова — до такой степени все были возмущены. Корнюде с такой яростью стукнул кружкой о стол, что она разбилась. Поднялся дружный вопль негодования против этого подлого солдафона, все дышали гневом, все объединялись для сопротивления, словно у каждого из них просили частицу той жертвы, которой требовали от нее. Граф с отвращением заявил, что эти люди ведут себя не лучше древних варваров. В особенности женщины выражали Пышке горячее и ласковое сочувствие. Монахини, выходившие из своей комнаты только к столу, склонили головы и молчали.

Когда приступ бешенства улегся, кое-как принялись за обед, однако говорили мало: все размышляли.

Дамы рано разошлись по комнатам, а мужчины, оставшись покурить, затеяли игру в экарте и пригласили принять в ней участие г-на Фоланви с намерением искусно вывести у него, каким способом можно преодолеть сопротивление офицера. Но трактирщик думал лишь о картах, ничего не слушал, ничего не отвечал, а только твердил:

— Давайте же играть, господа, давайте играть!

Его внимание было так поглощено игрою, что он забывал даже плевать, отчего в груди его раздавалось порою протяжное гудение органа. Его свистящие легкие воспроизводили всю гамму астмы, начиная с торжественных басовых звуков и кончая хриплым криком молодого петуха, пробующего петь.

Он даже отказался идти спать, когда его жена, падавшая от усталости, пришла за ним. И она удалилась одна, потому что вставала всегда с восходом солнца, тогда как муж ее был полуночник и рад был просидеть с приятелями до утра. Он крикнул ей: «Поставь мне гогель-могель на печку!» — и продолжал игру. Когда стало ясно, что ничего выпытать у него не удастся, решили, что пора спать, и все разошлись по своим комнатам.

На другой день встали опять-таки довольно рано, смутно надеясь и еще сильнее желая уехать, ужасаясь мысли, что придется снова провести день в этом отвратительном трактирчике.

Увы! лошади стояли в конюшне, кучера не было видно. От нечего делать все стали бродить вокруг кареты.

Завтрак прошел печально; чувствовалось некоторое охлаждение к Пышке, ибо, под влиянием ночных размышлений, взгляды несколько изменились. Теперь все почти досадовали на девушку за то, что она тайно не встретилась с пруссаком и не приготовила своим спутникам приятного сюрприза к их пробуждению. Что могло быть проще? Да и кто бы об этом узнал? Для приличия она могла сказать офицеру, что делает это из жалости к своим отчаявшимся спутникам. Для нее же это имеет так мало значения!

Но никто еще не сознавался в подобных мыслях.

В середине дня, когда все истомились от скуки, граф предложил совершить прогулку в окрестности. Маленькое общество, тщательно закутавшись, тронулось в путь, за исключением Корнюде, предпочитавшего сидеть у огонька, да монахинь, которые проводили дни в церкви или у кюре.

Холод, усилившийся день ото дня, жестоко щипал нос и уши; ноги так окоченели, что каждый шаг был мукой; а когда дошли до полей, они показались такими ужасающе зловещими в своей безграничной белизне, что у всех сразу похолодело в душе и стеснило сердце, и все повернули обратно.

Луазо, прекрасно понимавший положение, спросил вдруг, долго ли им придется из-за «этой потаскухи» торчать в такой трущобе. Граф, неизменно учтивый, сказал, что нельзя требовать от женщины столь тягостной жертвы, что жертва эта может быть только добровольной. Г-н Карре-Ламадон заметил, что если французы предпримут, как о том говорили, контрнаступление через Дьепп, то их столкновение с пруссаками произойдет не иначе, как в Тоте. Эта мысль встревожила обоих его собеседников.

— А что, если уйти пешком? — промолвил Луазо.

Граф пожал плечами:

— Да что вы! По такому снегу, с женами! Кроме того, за нами тотчас же пошлют погоню, поймут через десять минут и предоставят как пленников произволу солдат.

Это было верно. Все умолкли.

Дамы разговаривали о нарядах; но некоторая принужденность, казалось, разъединяла их.

Вдруг в конце улицы показался офицер. На фоне снега, замыкавшего горизонт, вырисовывалась его высокая фигура, напоминавшая осу в мундире; он шагал, расставляя ноги, особенной походкой военного, который старается не запачкать тщательно начищенных сапог.

Поравнявшись с дамами, он поклонился им и презрительно взглянул на мужчин, у которых, впрочем, хватило собственного достоинства не снять шляп, хоть Луазо и потянулся было к своему картузу.

Пышка покраснела до ушей, а три замужних женщины почувствовали глубокое унижение от того, что этот солдат встретил их в обществе девицы, с которой он повел себя так бесцеремонно.

Заговорили о нем, о его фигуре и лице. Г-жа Карре-Ламадон, знававшая многих офицеров и понимавшая в них толк, находила, что этот вовсе не так уж плох; она даже пожалела, что он не француз, так как из него вышел бы прекрасный гусар, который несомненно сводил бы с ума всех женщин.

Вернувшись домой, все уж решительно не знали, чем заняться, и даже стали обмениваться колкостями по самым незначительным поводам. Молчаливый обед длился недолго, а затем все отправились спать, чтобы как-нибудь убить время.

Когда на другой день путешественники сошли вниз, у всех на лицах была усталость, а

на сердце злорада. Женщины еле говорили с Пышкой.

Прозвучал колокол. Звонили к крестинам. У Пышки был ребенок, который воспитывался в Ивето у крестьян. Она видалась с ним только раз в год, никогда о нем не думала, но мысль о младенце, которого собираются крестить, вызвала в ее сердце внезапный неистовый прилив нежности к собственному ребенку, и ей непременно захотелось присутствовать при обряде.

Едва она ушла, все переглянулись, потом придвинулись поближе друг к другу, так как чувствовали, что пора в конце концов что-нибудь предпринять. Луазо вдруг осенила мысль: он считает, что нужно предложить офицеру задержать одну Пышку и отпустить остальных.

Г-н Фоланви согласился выполнить поручение, но почти тотчас же вернулся вниз: немец, зная человеческую натуру, выставил его за дверь. Он намеревался держать всех до той поры, пока его желание не будет удовлетворено.

Тогда плебейская порода г-жи Луазо развернулась во всю ширь:

— Не сидеть же нам здесь до старости! Раз эта пакостница занимается таким ремеслом и проделывает это со всеми мужчинами, какое же право она имеет отказывать кому бы то ни было? Скажите на милость, в Руане она путалась с кем попало, даже с кучерами! Да, сударыня, с кучером префектуры! Я-то отлично знаю, — он вино в нашем заведении берет. А теперь, когда нужно вызволить нас из затруднительного положения, эта девка разыгрывает из себя недотрогу!.. По-моему, офицер ведет себя еще хорошо. Быть может, он уже давно терпит лишение и, конечно, предпочел бы кого-нибудь из нас троих. А он все-таки довольствуется тою, которая принадлежит всякому. Он уважает замужних женщин. Подумайте только, ведь он здесь хозяин. Ему достаточно сказать: «Я желаю» — и он при помощи солдат может силой овладеть нами.

Обе другие женщины слегка вздрогнули. Глаза хорошенькой г-жи Карре-Ламадон блеснули, и она была несколько бледна, словно уже чувствовала, что офицер силой овладевает ею.

Мужчины, рассуждавшие в сторонке, подошли к дамам. Луазо бушевал и был готов выдать врагу «эту паршивку», связав ее по рукам и ногам. Но граф, потомок трех поколений посланников и сам по внешности напоминавший дипломата, являлся сторонником искусного маневра.

— Надо ее переубедить, — сказал он. Тогда составил заговор.

Женщины пододвинулись поближе, голоса понизились, разговор стал общим, каждый высказывал свое мнение. Впрочем, все шло очень прилично. В особенности дамы удачно находили деликатные выражения, очаровательно изысканные обороты для обозначения самых непристойных понятий. Посторонний ничего бы здесь не уловил, до того осмотрительно подбирались слова. Но так как легкая броня целомудренной стыдливости, в которую облакаются светские женщины, защищает их лишь для вида, все они наслаждались этим соблазнительным приключением, безумно забавлялись в душе, чувствуя себя в своей сфере, обдывая это любовное дельце с вожделением повара-лакомки, приготовляющего ужин для другого.

Веселость возвращалась сама собой, настолько забавна в конце концов была вся история. Граф вставлял довольно рискованные шутки, но делал это так тонко, что у всех вызывал улыбку. В свою очередь Луазо отпустил несколько более крепких острот, которыми никто не возмутился; над всеми властвовала мысль, грубо выраженная его женой: «Раз у этой девки такое ремесло, с какой стати ей отказывать тому или другому?» Миловидная г-жа Карре-Ламадон, по-видимому, даже думала, что на ее месте скорее отказала бы кому-нибудь другому, чем этому офицеру.

Заговорщики долго обсуждали тактику осады, словно речь шла о крепости. Каждый

взял на себя определенную роль, условился, какие доводы ему следует пускать в ход, какие маневры предстоит осуществлять. Был выработан план атак, всяческих хитрых уловок, внезапных нападений, которые принудят эту живую крепость сдаться неприятелю. Один лишь Корнюде по-прежнему держался в стороне и не принимал никакого участия в заговоре.

Общее внимание было настолько поглощено этой затеей, что никто не слышал, как вошла Пышка. Но граф прошептал: «Шш!» — и все подняли глаза. Она была в комнате. Все вдруг смолкло и, чувствуя некоторое замешательство, не решались сразу заговорить с ней. Графиня, более других искушенная в салонном двуличии, спросила ее:

— Что ж, интересные были крестины?

Толстуха, еще растроганная, описала все: и лица, и позы, даже самую церковь. Она добавила:

— Иногда так хорошо бывает помолиться!

До завтрака дамы ограничивались только особой предупредительностью к ней, рассчитывая сделать ее доверчивее и послушнее.

Но как только сели за стол, началось наступление. Сперва завели оживленный разговор о самопожертвовании. Приводились примеры из древности — Юдифь и Олоферн, затем ни с того ни с сего — Лукреция и Секст, вспомнили Клеопатру, которая принимала на свое ложе всех вражеских военачальников и приводила их к рабской покорности. Была даже рассказана возникшая в воображении этих миллионеров-невежд фантастическая история о римских гражданах, которые отправлялись в Капую убаюкивать в своих объятиях Ганнибала, а вместе с ним — его полководцев и целые фаланги наемников. Затем припомнили всех женщин, которые преградили путь завоевателям, сделав свое тело полем битвы, орудием господства, и героическими ласками покорили вырождавшихся или ненавистных тиранов и принесли свое целомудрие в жертву мести и самоотречению.

Рассказали также в туманных выражениях об одной англичанке из аристократического рода, привившей себе отвратительную заразную болезнь, чтобы передать ее Бонапарту, которого чудесным образом спасла внезапная слабость в минуту рокового свидания.

Все это излагалось в приличной и сдержанной форме, и лишь изредка прорывался деланный восторг, рассчитанный на то, чтобы поощрить к соревнованию.

В конце концов можно было подумать, что единственное назначение женщины на земле заключается в вечном самопожертвовании, в беспрестанном подчинении прихотям солдатни.

Монахини, казалось, были погружены в глубокое раздумье; Пышка молчала.

Ей предоставили на размышление целый день. Но теперь ее уже не называли, как раньше, «мадам» — ей говорили просто «мадемуазель», хотя никто не знал хорошенько, почему именно; вероятно, для того, чтобы свести ее на ступеньку ниже в том уважении, которого она добилась, и чтобы дать ей почувствовать постыдность ее ремесла.

Как только подали суп, опять появился г-н Фоланви и повторил вчерашнюю фразу:

— Прусский офицер спрашивает, не изменила ли мадемуазель Элизабет Руссе своего решения.

Пышка сухо ответила:

— Нет.

Но за обедом коалиция стала слабеть. У Луазо вырвалось несколько неосторожных фраз. Каждый из кожи лез, стараясь выдумать новый пример, и ничего не находил; как вдруг графиня, быть может, не предумышленно, а просто в смутном желании почтить религию, обратилась к старшей монахине с вопросом о великих примерах из жития

святых. Ведь многие святые совершали деяния, которые в наших глазах были бы преступны, но церковь легко прощает эти прегрешения, если они совершены во славу божию или на пользу ближнему. Это был могучий довод: графиня воспользовалась им. Тогда, то ли в силу молчаливого соглашения, завуалированного попустительством, в котором наловчился всякий, носящий духовное платье, то ли в силу счастливого недомыслия, старая монахиня оказала заговору огромную поддержку. Ее считали застенчивой, она же выказала себя смелой, речистой, резкой. Ее не смущали казуистические колебания; мнения ее были подобны железному посоху; вера ее была непреклонна; совесть ее не знала сомнений. Она считала жертвоприношение Авраама вполне естественным, ибо сама немедленно убила бы отца и мать, получив указание свыше; никакой поступок, по ее мнению, не может прогневить господя, если похвально намерение, руководившее этим поступком. Графиня, желая извлечь как можно больше пользы из духовного авторитета своей неожиданной сообщницы, вызвала ее на длинное назидательное толкование нравственной аксиомы: «Цель оправдывает средства».

Она задавала ей вопросы:

— Итак, сестра, вы считаете, что бог приемлет все пути и прощает проступок, если побуждение чисто?

— Как можно сомневаться в этом, сударыня? Нередко поступок, сам по себе достойный осуждения, становится похвальным благодаря намерению, которое его вдохновляет.

И они продолжали в этом духе, обсуждая волю господя, предвидя его решения, приписывая ему вмешательство в дела, которые, право, совсем его не касаются.

Все это преподносилось замаскированно, ловко, пристойно. Но каждое слово святой девы в монашеском чепце пробивало брешь в негодующем сопротивлении куртизанки. Потом разговор несколько отклонился в сторону, и женщина с четками заговорила о монастырях своего ордена, о своей настоятельнице, о самой себе и о своей милой соседке, возлюбленной сестре общины св. Нисефора. Их вызвали в Гавр, чтобы ухаживать в госпиталях за сотнями солдат, больных оспой. Она рассказывала об этих несчастных, подробно описывала болезнь. И в то время как до прихоти этого пруссака их задерживают в пути, сколько умрет французов, которых они, быть может, спасли бы! Лечить военных было ее специальностью: она побывала в Крыму, в Италии, в Австрии; повествуя о своих походах, она вдруг выказала себя одной из тех лихих и воинственных монахинь, которые словно для того и созданы, чтобы следовать за войском, подбирать раненых в разгар сражения и лучше любого начальника единым словом укрощать непокорных вояк; это была истинная сестрица Рантаплан, и ее изуродованное, изрытое бесчисленными рябинами Лицо являлось как бы образцом разрушений, причиняемых войной.

После нее никто не проронил ни слова — таким бесспорным казался произведенный ею эффект.

Тотчас же после еды все поспешили разойтись по комнатам и вышли лишь на другое утро, довольно поздно.

Завтрак прошел спокойно. Выжидали, чтобы семена, посеянные накануне, проросли и дали плоды.

Среди дня графиня предложила совершить прогулку; тогда граф, как было условлено заранее, взял Пышку под руку и пошел с нею, немного отстав от остальных.

Он говорил с ней фамильярным, немного пренебрежительным тоном, каким солидные мужчины разговаривают с публичными девками, называл ее «мое дорогое дитя», снисходя к ней с высот своего общественного положения, своего непреложного

достоинства. «Он сразу же приступил к сути дела:

— Итак, вы готовы держать нас здесь и подвергать, как и себя, опасности всевозможных насилий, неизбежных в случае поражения прусской армии, только бы не проявить ту снисходительность, которую проявляли в своей жизни столько раз?

Пышка ничего не ответила.

Он действовал на нее ласково, доводами, чувствительностью. Он сумел держаться «графом» и в то же время быть галантным, обольстительным, рассыпаться в комплиментах. Он превозносил услугу, которую она могла бы оказать им, говорил об их признательности, а потом вдруг весело обратился к ней на «ты»:

— И знаешь, дорогая, он вправе будет хвастаться, что полакомился такой хорошенькой девушкой, каких не найти у него на родине.

Пышка ничего не ответила и догнала остальных.

Вернувшись домой, она сразу же поднялась к себе в комнату и больше не выходила. Беспокойство достигло крайних пределов. На что она решится? Если она будет упорствовать, — беда!

Настал час обеда; ее тщетно дожидались. Наконец явился г-н Фоланви и объявил, что мадемуазель Руссе не совсем здорова и можно садиться за стол без нее. Все насторожились. Граф подошел к трактирщику и шепотом спросил:

— Согласилась?

— Да.

Из приличия он ничего не сказал своим попутчикам, а только слегка кивнул им головой. Тотчас же у всех вырвался глубокий вздох облегчения, и все лица просияли. Луазо закричал:

— Тра-ля-ля-ля-ля! Плачу за шампанское, если таковое имеется в сем заведении.

И у г-жи Луазо сжалось сердце, когда хозяин вернулся с четырьмя бутылками в руках. Все вдруг стали общительными и шумливыми; сердца заиграли бурным весельем. Граф, казалось, впервые заметил, что г-жа Карре-Ламадон прелестна; фабрикант начал ухаживать за графиней. Разговор сделался оживленным, бойким, заблестел остроумием.

Вдруг Луазо сделал испуганное лицо и, воздев руки, завопил:

— Тише!

Все смолкли в удивлении и даже в испуге. Тогда он прислушался, жестом обеих рук призвал к молчанию, поднял глаза к потолку, снова прислушался и проговорил своим обычным голосом:

— Успокойтесь, все в порядке.

Никто не решался показать, что понял, о чем идет речь, но улыбка мелькнула на всех лицах.

Через четверть часа он повторил ту же шутку, и в течение вечера возобновлял ее несколько раз; он делал вид, будто обращается к кому-то на верхнем этаже, и давал тому двусмысленные советы, которые черпал из запасов своего коммивояжерского остроумия. Порою он напускал на себя грусть и вздыхал: «Бедная девушка!» или свирепо цедил сквозь зубы: «Ах, подлый пруссак!» Несколько раз, когда, казалось, никто уже не думал об этом, он начинал вопить дрожащим голосом: «Довольно! Довольно!» и добавлял, словно про себя:

— Только бы нам снова ее увидеть; только бы негодяй этот не уморил ее!

Хоть шутки и были самого дурного тона, они забавляли общество и никого не коробили, потому что и негодование, подобно всему остальному, связано с окружающей средой; атмосфера же, постепенно создававшаяся в трактире, была насыщена фривольными мыслями.

За десертом сами женщины стали делать сдержанные игривые намеки. Глаза у всех разгорелись: выпито было много. Граф, сохранявший величественный вид даже в тех случаях, когда позволял себе вольности, сравнил их положение с окончанием зимовки на полюсе и радостью людей, которые, потерпев кораблекрушение, видят, что, наконец, им открывается путь на юг; слова его имели большой успех.

Расходившийся Луазо встал с бокалом в руке:

— Пью за наше освобождение!

Все поднялись и подхватили его возглас. Даже монахини поддались уговору дам и согласились пригубить пенистого вина, которого они еще никогда не пробовали. Они объявили, что оно похоже на шипучий лимонад, только гораздо вкуснее.

Луазо подвел итоги:

— Какая досада, что нет фортепиано, хорошо бы кадрили отхватить!

Корнюде не проронил ни слова, не сделал ни одного движения; он, казалось, был погружен в мрачное раздумье и изредка неистово дергал свою длинную бороду, словно желая еще удлинить ее. Наконец около полуночи, когда стали расходиться, Луазо, еле державшийся на ногах, неожиданно хлопнул его по животу и сказал заплетающимся языком:

— Что это вы невеселы сегодня? Что это вы все молчите, гражданин?

Корнюде порывисто поднял голову и, окинув всех горящим и грозным взглядом, ответил:

— Знайте, что все вы совершили подлость!

Он встал, дошел до двери, еще раз повторил: «Да, подлость!» и скрылся.

Сначала всем сделалось неловко. Озадаченный Луазо стоял, разинув рот; потом к нему вернулась самоуверенность, и он вдруг захохотал, приговаривая:

— Зелен виноград, приятель, зелен!

Так как никто не понимал, в чем дело, он поведал «тайны коридора». Последовал взрыв неистового смеха. Дамы веселились, как безумные. Граф и г-н Карре-Ламадон хохотали до слез, Им это казалось неправдоподобным.

— Как? Вы уверены? Он хотел...

— Да говорю же я вам, что сам видел.

— И она отказала?

— Потому что пруссак находился в соседней комнате.

— Быть не может!

— Клянусь вам!

Граф задыхался. Фабрикант обеими руками держался за живот. Луазо продолжал:

— Понятно, что сегодня вечером ему совсем, совсем не до смеха.

И все трое снова принимались хохотать до колик, до слез.

На этом разошлись. Однако г-жа Луазо, особа ехидная, ложась спать, заметила мужу, что «эта злюка» Карре-Ламадон весь вечер смеялась через силу:

— Знаешь, когда женщина без ума от мундира, ей, право, все равно, носит ли его француз или пруссак!.. Жалкие твари, прости господи!

И всю ночь во мраке коридора проносились, словно дрожь, слабые шелесты, шорохи, вздохи, легкие шаги босых ног, едва уловимые скрипы. Постояльцы заснули, несомненно, очень поздно, потому что под дверями долго скользили тонкие полоски света. От шампанского это порою бывает; оно, говорят, тревожит сон.

На другой день снега сверкали под ярким зимним солнцем. Запряженный дилижанс наконец-то дожидался у ворот, а стая белых голубей, пыжившихся в своем густом оперении, розовоглазых, с черными точками зрачков, важно разгуливала меж ног

шестерки лошадей и, разбрасывая лапками дымящийся навоз, искала в нем корма.

Кучер, укутавшись в овчину, покуривал на козлах трубку, а сияющие пассажиры поспешно укладывали провизию на остальную дорогу.

Ждали только Пышку. Наконец она появилась.

Она была взволнована, смущена и очень робко подошла к своим спутникам, но все, как один, отвернулись, будто не замечали ее. Граф с достоинством взял жену под руку и отвел в сторону, чтобы оградить от нечистого соприкосновения.

Пышка в изумлении остановилась, потом, собрав все мужество, подошла к жене фабриканта и смиренно пролепетала:

— Здравствуйте, сударыня.

Та лишь чуть заметно надменно кивнула головой и бросила на нее взгляд оскорбленной добродетели. Все делали вид, что очень заняты, и держались как можно дальше от Пышки, точно в юбках своих она принесла заразу. Затем все бросились к дилижансу; она вошла последней и молча уселась на то же место, которое занимала в начале пути.

Ее, казалось, больше не замечали, не узнавали; только г-жа Луазо, негодуя, посмотрев на нее издали, сказала мужу вполголоса:

— Какое счастье, что я сижу далеко от нее.

Тяжелая карета тронулась, и путешествие возобновилось.

Сначала все молчали. Пышка не решалась поднять глаза. Она одновременно и негодовала на всех своих соседей и чувствовала, что унизилась, уступив им, что осквернена поцелуями пруссака, в объятия которого ее толкнули эти лицемеры.

Но вскоре графиня, обратившись к г-же Карре-Ламадон, прервала тягостное молчание:

— Вы, кажется, знакомы с госпожой д'Этрель?

— Да, это моя приятельница.

— Какая прелестная женщина!

— Чудесная! Поистине, избранное создание и к тому же такая образованная, натура глубоко художественная: она восхитительно поет и превосходно рисует.

Фабрикант беседовал с графом, и сквозь грохот оконниц порою слышались слова: «Купон — платеж — доход — в срок».

Луазо, который стащил в трактире старую колоду карт, засаленных от пяти лет трения о плохо вытертые столы, затеял с женою партию в безик.

Монахини взяли за длинные четки, свисавшие у них с поясов, одновременно перекрестились, и вдруг губы их проворно задвигались, зашепили, все ускоряя невнятный шепот, словно соревнуясь в быстроте молитвы; время от времени они целовали образок; снова крестились, затем продолжали торопливое и непрерывное бормотанье.

Корнюде задумался и не шевелился.

После трех часов пути Луазо собрал карты и заявил:

— Пора поесть.

Тогда жена его достала перевязанный бечевкою сверток и вынула оттуда кусок телятины. Она аккуратно разрежала его на тонкие плотные ломтики, и они принялись за еду.

— Не последовать ли и нам их примеру? — спросила графиня.

Получив согласие, она развернула провизию, припасенную на обе четы. Это были сочные копчености, лежавшие в одной из тех продолговатых фаянсовых мисок, на крышке которых изображен заяц, указывающий, что здесь покоится заячий паштет: белые речки сала пересекали коричневую мякоть дичи, смешанной с другими мелко нарубленными

сортами мяса. На прекрасном куске сыра, вынутом из газеты, виднелось слово: «Происшествия», отпечатавшееся на его маслянистой поверхности.

Монахини развернули кольцо колбасы, пахнувшей чесноком, а Корнюде засунул сразу обе руки в глубокие карманы пальто и вынул из одного четыре яйца вкрутую, а из другого — краюху хлеба. Он облупил яйца, бросил скорлупу себе под ноги на солому и стал откусывать яйцо, роняя на длинную бороду светло-желтые крошки, казавшиеся в ней звездочками.

В суете и растерянности утреннего пробуждения Пышка не успела ничем запастись и теперь, задыхаясь от досады и ярости, смотрела на всех этих невозмутимо жующих людей. Сперва ее обуяла бурная злоба, и она открыла было рот, чтобы выложить им все напрямик в потоке брани, подступавшей ей к губам, но возмущение так душило ее, что она не могла говорить.

Никто не смотрел на нее, никто о ней не думал. Она чувствовала, что тонет в презрении этих честных мерзавцев, которые сперва принесли ее в жертву, а потом отшвырнули, как грязную и ненужную тряпку. Тут ей вспомнилась ее большая корзина, битком набитая всякими вкусными вещами, которые они так прожорливо уничтожили, вспомнились два цыпленка в блестящем желе, паштеты, груши, четыре бутылки бордоского; ее - ярость вдруг стихла, как слишком натянутая и лопнувшая струна, и она почувствовала, что готова расплакаться. Она делала невероятные усилия, чтобы сдержаться, глотала слезы, как ребенок, но они подступали к глазам, поблескивали на ресницах, и вскоре две крупные слезинки медленно покатались по щекам. За ними последовали другие, более стремительные; они бежали быстрее, стекали, словно капли воды, сочащейся из утеса, и равномерно падали на крутой выступ ее груди. Пышка сидела прямо, с застывшим и бледным лицом, глядя в одну точку, надеясь лишь, что на нее не обратят внимания.

Но графиня заметила ее слезы и жестом указала на нее мужу. Он пожал плечами, как бы говоря: «Что же поделаешь, я тут ни при чем». Г-жа Луазо беззвучно, но торжествующе засмеялась и прошептала:

— Она оплакивает свой позор.

Монахини, завернув в бумажку остатки колбасы, снова принялись за молитвы.

Тогда Корнюде, переваривая съеденные яйца, протянул длинные ноги под скамейку напротив, откинулся, скрестив руки, улыбнулся, как будто придумал удачную шутку, и стал насвистывать «Марсельезу».

Все нахмурились. Народная песнь, очевидно, вовсе не нравилась его соседям. Они стали нервничать, злиться и чуть ли не готовы были завывать, как собаки, заслышавшие шарманку. Он заметил это и уже не прекращал свиста. Порою он даже напевал слова:

Любовь к отечеству святая!
Дай мести властвовать душой,
Веди, свобода дорогая,
Твоих защитников на бой! [1]

[1] Перевод Г.Шенгели

Ехали теперь быстрее, так как снег стал более плотным; и до самого Дьеппа, в течение долгих унылых часов пути и нескончаемой тряски по ухабистой дороге, в вечерних сумерках, а затем в глубоких потемках, он с ожесточенным упорством продолжал свой мстительный однообразный свист, принуждая усталых и раздраженных спутников следить

за песней от начала до конца, припоминать соответствующие слова и сопровождать ими каждый такт.

А Пышка все плакала, и порою, между двумя строфами, во тьме прорывались рыдания, которых она не могла сдержать.